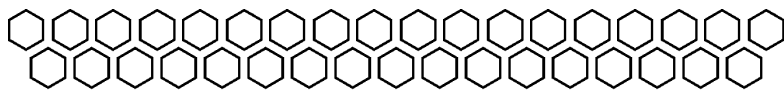


STUDIA PHILOLOGICA



В. М. ЖИВОВ

ОЧЕРКИ
ИСТОРИЧЕСКОЙ
МОРФОЛОГИИ
РУССКОГО
ЯЗЫКА

XVII—XVIII
ВЕКОВ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ

Москва

2004

ББК 63.3(2)4
Ж 67

Издание осуществлено при поддержке
Российского гуманитарного научного фонда
(РГНФ)
проект № 04-04-16073

Рецензенты:
доктор филологических наук Е. А. Земская
доктор филологических наук В. А. Плунгян

Живов В. М.

Ж 67 Очерки исторической морфологии русского языка XVII—XVIII веков / Рос. академия наук. Ин-т русского языка им. В. В. Виноградова. – М.: Языки славянской культуры, 2004. – 656 с. – (Studia philologica).

ISSN 1726-135X
ISBN 5-9551-0008-3

В монографии исследуются проблемы исторической морфологии на материале русских письменных источников XVII—XVIII вв. Анализируется ряд явлений именного и глагольного словоизменения в их динамике. Особое внимание уделено различиям в узусе, характеризующем разные традиции (регистры) письменного языка. Анализ статистических параметров позволяет проследить преемственность в эволюции регистров и увидеть специфику процессов, сопровождающих формирование языкового стандарта (литературного языка). Морфологические процессы в образовании языкового стандарта также рассматриваются в деталях, включающих и историю их кодификации, и их динамику в языковой практике, и историко-культурные стимулы этого развития.

Книга представляет интерес для историков русского языка и историков русской культуры, а также для специалистов в области общего языкознания и типологии языков.

ББК 63.3(2)4

Outside Russia, apart from the Publishing House itself (fax: 095 246-20-20 c/o M153, E-mail: koshchelev.ad@mtu-net.ru), the Danish bookseller G•E•C GAD (fax: 45 86 20 9102, E-mail: slavvic@gad.dk) has exclusive rights for sales of this book.

Право на продажу этой книги за пределами России, кроме издательства «Языки славянской культуры», имеет только датская книготорговая фирма G•E•C GAD.

ISBN 5-9551-0008-3



© В. М. Живов, 2004
© Языки славянской культуры, 2004

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	9
1. Коммуникативный статус морфологии и проблема преемственности.....	9
2. Морфологическая нормализация в процессе формирования русского литературного языка нового типа.....	21
3. Задачи, материал и план исследования.....	28
Глава I. Некоторые теоретические выкладки и полемические заметки	37
1. Специфика письменного языка и языковая ситуация древней Руси.....	37
2. Норма и вариативность в письменном языке. Значение синтаксических параметров.....	44
3. Преемственность и лингвистические характеристики книжного и некнижного языков.....	54
4. Формирование регистров письменного языка.....	63
5. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип двойственного числа.....	77
6. Механизмы преемственности и динамика регистров письменного языка. Тип простых претеритов.....	92
7. Формирование нового литературного языка как процесс европеизации.....	103
8. Место реинтерпретации морфологических вариантов в формировании нового литературного языка.....	116
Глава II. Формы инфинитива и 2 лица ед. числа презенса	131
1. Формы инфинитива в языковой практике XVII века.....	131
1.1. Формы инфинитива в книжных текстах XVII века.....	137
1.2. Формы инфинитива в некнижных текстах XVII века.....	159
2. Формы инфинитива в языковой практике Петровской эпохи.....	184
3. Формы инфинитива в языковой практике послепетровской эпохи (светская литература).....	198
4. Осмысление форм инфинитива и их нормализация.....	209
5. Формы инфинитива в языковой практике духовной литературы.....	226
6. Формы 2 лица ед. числа презенса.....	238
6.1. Формы 2 ед. презенса в письменности XVII века.....	239
6.2. Формы 2 ед. презенса в языковой практике XVIII века.....	249
6.3. Кодификация форм 2 ед. презенса.....	254
6.4. Формы 2 ед. презенса в языковой практике духовной литературы.....	258
6.5. Эссе о формах 2 ед. презенса в драматических произведениях.....	264

Глава III. А-экспансия в косвенных падежах существительного во множественном числе	267
1. Формы дат., твор. и местн. падежей мн. числа существительных в языковой практике XVII в.	268
1.1. А-экспансия в стандартных церковнославянских текстах и в текстах некнижных	277
1.2. А-экспансия в гибридных церковнославянских текстах	296
1.3. Ориентация на образцы и нормализация как факторы, определяющие характер а-экспансии в текстах XVII в.	314
2. Отражение а-экспансии в текстах Петровской эпохи и светской литературе XVIII в. Характер нормализации.....	319
2.1. Реформаторское и нейтральное направления в языковой практике Петровской эпохи	322
2.2. Завершение нормализации и опыты стилистического использования старых флексий	333
3. Трактовка а-экспансии в грамматиках и филологических трудах. Способы устранения вариативности	352
3.1. Грамматические описания церковнославянского языка	353
3.2. Первые грамматики русского языка.....	361
3.3. Формирование академической традиции. Принципы нормализации	368
3.4. Ломоносов и послеломоносовская кодификация.....	379
4. А-экспансия в языковой практике духовной литературы XVIII века	385
4.1. Проповедь на гибридном церковнославянском. Утверждение жанровых особенностей	386
4.2. Отражение а-экспансии при переходе духовной литературы на русский язык	398
Глава IV. Формы прилагательных в именительном и винительном падежах множественного числа	408
1. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в русской письменности XVII века.....	408
1.1. Стандартный книжный регистр.....	410
1.2. Гибридный книжный регистр	418
1.3. Деловой некнижный регистр	438
1.4. Бытовой некнижный регистр	446
1.5. Факторы, определяющие разнообразие узуса	448
2. История форм прилагательных в им.-вин. мн. числа в период формирования нового литературного языка	451
2.1. Смещение регистров и типы употребления форм им.-вин. мн. в Петровскую эпоху	451
2.2. Устранение вариативности в ходе академической нормализации 1720—1730-х годов	464
3. Кодификация форм прилагательных в им.-вин. мн. числа	475
3.1. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в церковнославянской грамматической традиции	475
3.2. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в грамматиках русского языка и академическая нормализация	480
3.3. Aftermath: Споры и колебания после 1733 года	489
4. Формы прилагательных в им.-вин. мн. числа в духовной письменности XVIII века	508

Заключение. Некоторые итоги и теоретические выводы	529
Приложение I. Простые претериты в светской письменности XVIII века	557
Приложение II. Простые претериты в духовной литературе XVIII века	567
Приложение III. Простые претериты и кодификация глагола в русской грамматической традиции XVIII века	578
Литература	602
Указатель	629

ВВЕДЕНИЕ

1. Коммуникативный статус морфологии и проблема преемственности

Структуралистская традиция в течение нескольких десятилетий приучала нас к тому, что уровни языка устроены если и не совсем одинаково, то во всяком случае похоже. Отдельные исследователи (например, Курилович) говорили даже об изоморфизме уровней языка. Эта страсть к тождеству ослепляла и не позволяла сосредоточиться на кардинальном различии уровней в функционировании языка, на том, что зоны ответственности каждого из уровней в языковой деятельности в целом достаточно дифференцированы. Морфология (словоизменение) оказывается в этой перспективе весьма специфическим уровнем, его можно было бы определить как — в сущности — коммуникативно бессмысленный. Морфология представляет собой как бы внутренность языка, те винтики и шестеренки языкового механизма, которые, вообще говоря, совершенно безразличны потребителю языкового продукта. Морфология — это технология коммуникативной деятельности, задающая «технологическую структурность» (в смысле Бодрийяра — Бодрийяр 1995, 4—5) языка как средства коммуникации и отделенная от его «функциональной структурности». В описании коммуникативного акта морфология присутствует столь же призрачно, как разбор двигателя внутреннего сгорания в рассказе об автомобильном путешествии.

Фонетический (для устного языка) или графический (для письменного языка) уровни необходимы для коммуникативного акта, поскольку сообщаемая информация должна иметь план выражения и организация этого плана существенна для эффективности коммуникации. Я не имею в виду, впрочем, никакой прямой связи между эффективностью коммуникации и «экономностью» организации плана выражения (см. ниже), но лишь тот тривиальный факт, что без распознаваемости внешнего выражения коммуникативный акт не может иметь места. Точно так же обмен информацией немислим без лексики, и этот факт настолько самоочевиден, что даже не нуждается в комментариях.

Кардинальное значение имеет синтаксис. Он выполняет не только формальное задание синтагматического развертывания смысла (на чем преимущественно сосредоточиваются формальные описания языка типа порождающих грамматик или модели «смысл — текст»), но определяет сам способ представления инфор-

мации, то, как оформляется дискурсивная интенция носителя языка, в какие смысловые блоки группируется сообщаемое содержание и — лишь в последнюю очередь — каким образом эти блоки трансформируются в линейную последовательность. Синтаксис неотделим от риторических стратегий говорящего, так что в этой перспективе стремление противопоставить риторике как область, имеющую дело с «экстралингвистическими» интенциями говорящего, лингвистике, трактующей абстрактный (независимый от говорящего) механизм реализации этих интенций, представляется абсолютно неосмысленным. Риторика, как она складывается в античности, как раз и учит препарированию смысла, т. е. представляет собой культурную разработку тех дискурсивных установок, которые изначально присутствуют во всяком речевом акте. Риторическая стратегия (обработанная или необработанная) присуща всякой речевой деятельности, и синтаксис призван описывать способы реализации риторических стратегий.

Мы вернемся к этой проблематике при обсуждении вопроса о регистрах письменного языка. Ограничиваясь в настоящий момент приведенными очень общими замечаниями, я стремился лишь подчеркнуть особый статус морфологического уровня. Никакого специального коммуникативного задания у морфологии нет, речевая деятельность не может обойтись без фонетики (графики), без лексики, без синтаксиса, поскольку у каждого из этих уровней есть свое дело в реализации коммуникативного акта. У морфологии своего дела нет, что и удостоверяется тем фактом, что существуют языки без морфологии (аморфные). Это не означает, конечно, что морфология, когда она имеется, ничему не служит. Формальные средства, присутствующие в языке, всегда эксплуатируются говорящими для разных нужд, т. е. не в одной, а в нескольких функциях (скажем, если в языке есть особая форма императива, она обычно употребляется не только для выражения просьбы или приказа, но и для обозначения особого характера действия или определенного типа связи в сложном предложении). Морфологические (словоизменительные) показатели маркируют статус слова в предложении (например, субъекта или объекта в предикативной конструкции, основного или вторичного предиката в полипредикативном построении и т. д.) и в силу этой своей роли создают возможность для таких синтаксических стратегий, которые при отсутствии словоизменения были бы невозможны (имею в виду, например, многообразные построения с нарушением проективности).

Такая связь морфологии с риторическими стратегиями говорящего существует, однако она представляется вторичной, тогда как основное задание морфологии с дискурсивными интенциями говорящего никак не связано. Так, скажем, в большинстве языков с морфологией имеется категория числа. Формы числа приписываются элементам соответствующих морфологических классов вне зависимости от того, входит или не входит в коммуникативную интенцию говорящего обозначение единственности или множественности упоминаемых им предметов (что хорошо видно из сопоставления, например, русского с китайским, в котором множественность обозначается лишь в тех случаях, когда она нужна говорящему). Прямое дополнение получает форму нужного падежа, даже если идентификация субъекта и объекта в конкретном высказывании самоочевидна и никакого эксплицитного выражения не требует. В морфологии в самом деле работает своего рода порождающий механизм, не зависящий от интенций говорящего и

снабжающий производимые им сообщения непредусмотренной информацией, которая едва ли не в большинстве случаев оказывается избыточной.

В силу этого полупаразитического статуса историческое развитие морфологии имеет специфический характер. Оно так же никому не нужно, как и сама морфология. Изменения в лексике и семантике очевидным образом связаны с культурным развитием языкового коллектива, с динамикой коммуникативных заданий, которые ставят перед собой говорящие. Не менее осмысленно и развитие синтаксиса. Диверсификация риторических стратегий приводит к появлению новых синтаксических построений, которые вступают во взаимодействие с унаследованным запасом и изменяют спектр комбинаторных возможностей, присутствующих в узусе. В фонетические изменения оказываются вовлечены свои экстралингвистические факторы, видимо, менее рациональной природы: ориентация на престижный диалект, дифференциация стилей произношения в зависимости от прагматической ситуации и т. п. Морфологические изменения никакими разумными причинами, по видимости, не обусловлены. Они производят впечатление самопроизвольного обновления системы, отвечающего ее внутренним потребностям. Именно эта бессмысленность делала морфологию фаворитом структурализма. В самом деле, какие резоны могут быть у носителей языка, чтобы заменить, скажем, у определенного подкласса существительных м. рода им. мн. на *-ы* им. мн. на *-а* (типа *города* → *города*)?

Обычные объяснения, предлагаемые исследователями в течение последних двух веков (когда эта проблема стала вызывать интерес), апеллируют к аналогии в более или менее изоциренных модификациях этого понятия. Им. мн. на *-ы* заменяется им. мн. на *-а* в силу того, что флексия *-а* имеется у существительных ср. рода того же морфологического класса, или в силу того, что флексия *-а* становится у существительных унифицированным маркером мн. числа, или в силу того, что с исчезновением дв. числа флексия *-а* у парных существительных (типа *глаза*, *берега*) реинтерпретируется как показатель мн. числа и распространяется на непарные существительные, или, наконец, в силу того, что эта флексия закрепляется у односложных существительных подвижной акцентной парадигмы и постепенно захватывает существительные многосложные (можно, естественно, и комбинировать эти различные факторы). Ни одна из этих интерпретаций не обладает исчерпывающей объяснительной силой, но это несовершенство воспринимается как следствие сложности языкового механизма и не мешает приписывать самому изменению своего рода телеологический характер.

Действительно, ни при одном из возможных объяснений изменение нельзя отнести на счет сознательной или полусознательной интенции носителей языка. Никакой Иван Петрович, если только он был нормальным носителем языка, а не автором нормативной грамматики, не мог всю свою жизнь мечтать, например, об *-а* как унифицированном маркере мн. числа существительных, стараться подчинить этой мечте свою языковую деятельность и передать потомкам свои реформаторские планы. Правда, исследователи говорят порой о принципе экономии, который в разбираемом случае может выражаться, например, в том, что носителям удобнее иметь один, а не несколько показателей мн. числа. Генеалогия этого принципа достаточно очевидна. Это известный принцип буржуазной морали, прекрасно изученный Максом Вебером, и для абстрагирующей прогрессивистской

науки он подходит в высшей степени. Как пишет Ницше о современных ему физиках и дарвинистах, они руководствуются «принципом “минимальной затраты силы” и максимальной затраты глупости» (По ту сторону добра и зла, 14). Очевидно, однако, что желание сэкономить усилия или память никак не может быть приписано отдельному носителю языка. Понятно, как Акакий Акакиевич экономил, не зажигая свеч, чтобы потом сшить себе шинель. Но совершенно непонятно, на какую выгоду может рассчитывать носитель, экономя, скажем, на количестве показателей мн. числа. Принцип экономии в применении к отдельному говорящему (пишущему, слушающему, читающему) выглядит абсурдно, и поэтому субъектом телеологических изменений оказывается сама абстрактная система языка. Этот метафорический субъект может быть, конечно, вместилищем любых желательных для исследователя интенций, однако связь этих метафорических интенций с языковой деятельностью неметафорических носителей языка никакому рациональному объяснению не поддается и в силу этого проблематизирует само понятие языковой системы (см.: Тимберлейк 2002).

Если мы, временно забыв о системе, обратимся к языковой деятельности, доступной нашему наблюдению, мы, как этого и следует ожидать, не обнаружим никакой устремленной в будущее направленности, никаких побуждений носителя сделать систему языка более экономной или более последовательной или более совершенной в эстетическом отношении. Носитель выступает прежде всего как наследник того языкового опыта, который был накоплен предшествующими поколениями и освоен им в ходе его языкового существования (при устной коммуникации, в процессе чтения, при обучении языку и т. д.). Инновативная деятельность носителя может иметь место — в результате новых коммуникативных задач, которые он перед собой ставит, смены риторических стратегий, выбора престижного ориентира. Однако, как мы уже говорили, эта инновативная практика в обычном случае не распространяется на морфологию. Именно это обусловливает специфический интерес морфологии для историка языка. Преемственность узуса не нарушается здесь никакими внешними факторами.

Что делает носитель со своим морфологическим наследством, последовательно преобразовать которое он явно не имеет никакого резона (если, конечно, он не грамматист и не занят нормализацией языка)? Вообще говоря, он его достаточно слепо воспроизводит. Интересным представляется не столько вопрос о том, как он воспроизводит предшествующий узус (хотя и эта проблема заслуживает внимания, и мы вскоре к ней вернемся), сколько вопрос о том, что именно (какой именно узус) воспроизводит носитель. Этот вопрос, понятно, не может быть осмысленным образом поставлен, пока мы мыслим языковую деятельность в сосюрловских категориях, как работу единого механизма (*la langue*), порождающего бесконечную и нерасчлененную массу языкового продукта (*la parole*), т. е. когда все моменты упорядоченности относятся на счет метафизической абстракции языка, а эмпирика речи представляется хаотическим мельканием теней, отображающих эту высшую реальность.

В этом построении единому языку соответствует единый узус, и именно его воспроизводит или модифицирует вполне иррелевантный для этой схемы носитель. К обсуждению того, какова социальная археология этой схемы и как ее неадекватность сказывается на истории языка, мы обратимся ниже. Как только мы

перестаем смотреть на узус как на нерасчлененную массу, а ставим перед собой вопрос, каким образом он упорядочен, проблема преемственности выходит на первый план, и одновременно уясняется значение исторической морфологии в качестве основного инструмента, позволяющего эту преемственность установить. Поскольку с точки зрения коммуникативного задания морфологические варианты предстают как чистые технологические издержки, они именно в силу этой своей избыточности оказываются наиболее наглядными индикаторами преемственности (как историческая произвольность сложившейся технологии).

Характер узуса очевидным образом зависит от той коммуникативной ситуации, в которой он реализуется. Люди говорят одним образом, когда они обсуждают бытовые проблемы в семейном кругу, и другим образом, когда их речь носит публичный характер или, скажем, когда они общаются с высшими силами (молятся, читают заговоры и т. д.). Совершенно аналогично, они по-разному пишут, когда речь идет о частном письме, официальной бумаге, газетной статье, научном трактате, романе, надписи на заборе и т. п. Носители языка в этих разнообразных ситуациях не приспособливают к ним некий единый узус, а воспроизводят те коммуникативные навыки, которые ассоциируются с данной ситуацией. Это означает, что наследуемый языковой опыт содержит не только совокупность собственно лингвистических элементов, но и соотносительность этих элементов с набором коммуникативных ситуаций. Социально адаптированный взрослый носитель языка знает (и знает в силу социального обучения, т. е. по наследству), что публичному выступлению присущ иной узус, нежели, скажем, любовному письму, и действует в соответствии с этим знанием. Усвоение языкового опыта происходит применительно к ситуации; в силу этого узус не представляет собою единства, но расчленен на отдельные связанные с определенными коммуникативными ситуациями традиции, в рамках которых он и воспроизводится.

Насколько оформлены эти традиции, до какой степени они поддаются систематическому описанию — это один из основных вопросов, возникающих в рамках изложенного выше подхода к языковой деятельности. Этот вопрос явно недостаточно изучен, и априорного ответа на него очевидно не существует. Отдельным исследователям множество подобных традиций представляется размытым, плохо упорядоченным, образующим совершенно несхожие конфигурации у разных индивидов и потому не допускающим «полной объективации» их описания (см.: Гаспаров 1996, 99). Б. М. Гаспаров пишет: «“Знание” каких бы то ни было компонентов языка неотделимо от житейского, интеллектуального, эмоционального опыта субъекта, в процессе которого (следует, видимо, понимать «в процессе усвоения которого». — *В. Ж.*) это знание им приобреталось и пускалось в ход. Оно укоренено в переплетениях ассоциативных ходов — словесных, интонационно-жестовых, образных, сюжетных, — конфигурации которых неотделимы от личности субъекта» (там же). При таком понимании невозможно говорить о сколько-нибудь определенных традициях, но лишь о бесконечном множестве индивидуальных случаев, не подчиняющихся никакому «централизованному подходу». «Неопределенность условий, при которых протекает эта ассоциативная работа, — утверждает Гаспаров, — возможность бесконечного расширения и перестраивания мобилизуемого поля ассоциаций как нельзя лучше соответствует открытой, бесконечной множественности задач, возникающих перед говорящими в их пользовании языком» (там же, 98).

Человеку, однако, свойственно типизировать и классифицировать свой опыт, в том числе и опыт языковой. Из этого не следует, конечно, что он создает для своих повседневных нужд абстрактные модели языка, которыми была так увлечена структурная и генеративная лингвистика. Правдоподобно, однако, что коммуникативные ситуации распадаются для него на ряд дискретных типов, причем набор этих типов оказывается одним из важнейших признаков культуры данного общества в данный исторический период. Каждый из этих типов соотносится с определенной языковой традицией, с определенной разновидностью языка (регистром); множество регистров, которыми располагает языковой коллектив, обнаруживает важнейший аспект социальной природы языка, предполагающей структурирование языкового опыта его носителей (Живов и Тимберлейк 1997, 6; см. о понятии регистра в социолингвистике: Эллис и Юр 1982; применение этого понятия к истории языка византийской письменности можно найти в кн.: Брунинг 1989, XV, 103—133). В публичной сфере в эпоху средневековья и раннего нового времени, т. е. в период, которому посвящено настоящее исследование, типизация коммуникативных ситуаций носит особенно выраженный характер, поскольку формы культурной жизни воспринимаются как бесконечно повторяющиеся (циклически воспроизводимые), а неповторимые черты индивидуальных культурных ситуаций, равно как и возникающих в них текстов, культурным сознанием игнорируются.

Регистры не представляют собой законченных автономных языковых систем, существующих независимо друг от друга; законченная система, впрочем, и вообще представляется структуралистским мифом, не приложимым ни к одному из сегментов языковой деятельности ни одного из языковых коллективов (не приложимым, в частности, и к случаям билингвизма — ср.: Живов и Тимберлейк 1997, 5; Гаспаров 1996, 112—114). Регистры взаимопроницаемы, т. е. они обладают общим языковым материалом, а специфический языковой материал каждого из регистров может быть инкорпорирован в речевую деятельность, соответствующую другому регистру, в качестве своего рода чужого слова. При всей взаимопроницаемости, однако, каждому из регистров присуща своя риторическая установка, а следовательно и своя синтаксическая стратегия. Традиция (социальная преемственность языкового опыта) связывает с каждой из риторических установок специфический языковой материал, и в силу этого регистры обладают и набором соотнесенных с ними формальных языковых элементов, в том числе и морфологических.

Возникающие здесь социолингвистические и психолингвистические проблемы изучены далеко не удовлетворительно; подробное их обсуждение в рамках настоящей монографии вряд ли было бы уместно. Ситуация облегчается тем, что предлагаемое читателю исследование обращается почти исключительно к письменному языку. Что же касается письменного языка, то можно полагать, что лингвистические традиции в нем структурированы более отчетливо, а преемственность носит более выраженный, а, главное, в большей степени поддающийся наблюдению характер, чем в языке устном. Подобная ситуация определяется в конечном итоге тем незамысловатым обстоятельством, что опыт письменного языка приобретает в более сознательном возрасте, в большей степени связан с обучением и более непосредственно соотнесен с отработанными дискурсивными

стратегиями данного общества, с набором дискурсов, которые в нем употребляются. Любой речевой акт может рассматриваться как явление культуры, но при этом именно речевой акт в рамках письменного узуса представляется культурным феноменом по преимуществу. Преемственность в регистрах письменного языка оказывается в этой перспективе одним из наиболее существенных явлений культурной памяти социума.

Именно для анализа этой преемственности морфология, как уже говорилось, имеет принципиальное значение. Если воспроизводство синтаксических построений или лексического облика может быть отнесено на счет тождества или сходства коммуникативных ситуаций, то воспроизводство морфологических параметров ничем, кроме преемственности навыков письма в рамках определенной традиции, объяснить нельзя. Речь не идет, естественно, о тех морфологических элементах, которые являются общими для всех письменных традиций. Если, скажем, форма дат. ед. существительных м. рода требует окончания *-у/-ю* (*столу, князю*) и так обстоит дело во всех регистрах языка, употребление этой флексии ни о какой преемственности не свидетельствует; хотя этот элемент, как и любой другой, первоначально осваивается носителем языка в рамках определенного регистра, в его языковом опыте он ни с каким отдельным регистром не соотносится и в силу этого никак не указывает на принадлежность анализируемого речевого акта к одной из традиций. В языках с синтетической морфологией, однако, всегда имеется некоторое количество морфологических вариантов, и дистрибуция этих вариантов обычно находится в той или иной зависимости от регистров языка. Такая ситуация соответствует самой природе вариативности в языке.

Действительно, вариативность имманентна для языкового узуса. «Она, видимо, может возникать в силу разных причин, но присутствует в любых условиях и при любом типе языка. Элементарный случай вариативности возникает в силу того, что речь разных членов языкового коллектива полностью не совпадает, и эти несовпадения могут становиться предметом оценки и подражания, что переводит их из разряда индивидуальных отклонений в разряд социально значимых черт языкового поведения. Каков бы ни был источник вариативности, она всегда обладает функциональным потенциалом, т. е. всегда возможно наделение вариантов определенной значимостью: они могут дифференцироваться семантически или стилистически, могут закрепляться в разных речевых традициях и т. д. Стремление дифференцировать варианты создает телеологический момент в языковой деятельности, однако этот момент существует не на уровне глобальных преобразований системы, а на микроуровне: узуса, ограниченного определенной ситуацией и определенной традицией» (Живов и Тимберлейк 1997, 13).

В русских письменных текстах XVII в. окончание род. ед. ж. рода представлено тремя вариантами: *-ья/-ия*, *-ой/-ей* и *-ье/-ие*. Лишь в редких случаях, однако, все эти три варианта могут быть обнаружены в одном тексте. Как правило, в стандартных церковнославянских памятниках встречается только флексия *-ья/-ия*, в гибридных книжных текстах эта флексия употребляется наряду с флексией *-ой/-ей*, в текстах делового характера преимущественное распространение получает флексия *-ье/-ие*, а флексия *-ой/-ей* появляется в качестве дополнительного варианта (ср.: Унбегаун 1935, 323—325; Черных 1953, 306—307; Пеннингтон 1980, 252), тогда как в бытовой переписке основным вариантом оказывается